

### Поэтика телесности в «Записках юного врача» М. Булгакова

*Аннотация:* В статье рассмотрены образный мир и проблематика цикла М. Булгакова «Записки юного врача» и повести «Морфий». Главное внимание уделено способам художественного изображения телесной жизни человека как сложно организованного «текста», который становится предметом научно-медицинской, эстетической, нравственной, социальной рефлексии, а также входит в пространство коллективного сознания и бессознательного, что особенно ярко проявилось в рассказах «Стальное горло» и «Тьма египетская». Осмысливается и образ булгаковского врача: в цикле «Записки юного врача» это личность, которая через соприкосновение с телесной жизнью пациентов проходит школу возрастания, повесть же «Морфий» интерпретируется как трагическое повествование о капитуляции человека перед нравственно поврежденной стихией телесности. В «медицинской» прозе Булгакова дневниковые, исповедальные элементы соединяются с резко очерченными сюжетными рисунками, психологическими и социокультурными обобщениями.

*Ключевые слова:* Булгаков, медицинская проза, поэтика телесности, образ врача, изображение болезни

*Abstract:* The article describes the imaginative world and the problems of the cycle by Mikhail Bulgakov “Notes of a young doctor” and the story “Morphine”. The main attention is paid to the methods of artistic images of bodily life as a complexly organized “text”, which became the subject of scientific and medical, esthetic, moral, social reflection, and is included in the space of collective consciousness and the unconscious, which is especially apparent in the stories of “Steel throat” and “Darkness Egyptian”. Conceptualize and image Bulgakov the doctor: in a series of “Notes of a young doctor” is a person who through contact with the bodily life of the patient passes increase school novel as “Morphine” is interpreted as a tragic story about the surrender of the person in front of morally corrupted elements of physicality. The “medical” prose of Bulgakov’s diary, confessional elements combine with sharply outlined plot drawings, psychological and socio-cultural generalizations.

*Key words:* Bulgakov, medical prose poetics of physicality, the image of the doctor, the disease picture

В прозе М. Булгакова – от «Записок юного врача», «Необыкновенных приключений доктора», «Морфия», «Собачьего сердца» до «Мастера и Маргариты» – ме-

дицинский угол зрения на реальность формировал особый художественный опыт познания бытия, личности, явлений современной действительности.

В цикле рассказов «Записки юного врача» (1925–1927), действие которых разворачивается в 1916–1918 гг., художественное единство основано не только на взаимной хронологической соотнесенности произведений и их автобиографическом характере, но и на значимой для всего цикла поэтике телесности. Разнообразные телесные, возрастные, психосоматические состояния становятся здесь «как объектом изображения, так и инструментом познания и описания мира»<sup>1</sup>, причем телесность предстает как «биологическая и психологическая категория»<sup>2</sup> и реализуется «в разных образно-мотивных парадигмах»<sup>3</sup>.

В открывающем цикл рассказе «Полотенце с петухом» (1926), где набрасываются первые штрихи к портрету прибывшего в Мурьинскую больницу 23-летнего доктора с видом студента и пятнадцатью пятерками в дипломе, саморефлексия повествователя начинается с осмысления им собственных душевно-телесных переживаний. Смятение перед предстоящей практикой побуждает его напряженно прислушиваться к тревожным импульсам своего тела, которое уподобляется «тексту, требующему перевода»<sup>4</sup>: «Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же, во дворе, мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить – существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне... болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль...»<sup>5</sup> Стеснение от собственного слишком юного для дипломированного доктора внешнего облика порождает стремление искусственно противостоять законам телесного естества («Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить») и усугубляет страх перед иррациональной стихией тела, его недугами и непредсказуемыми состояниями: «Каково будет чувствовать себя больной с грыжей у меня под руками?.. А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана?.. А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать?»

Центральный событийный ряд рассказа, сопряженный с ампутацией раздавленной и переломанной ноги молодой девушки, представлен в пульсирующей сюжетной динамике. Намеренно отходя от автобиографической достоверности, герой Булгакова подчеркивает свою абсолютную неопытность в хирургическом деле<sup>6</sup> и выдвигает на первый план человеческую, врачебную интуицию о мощной, противостоящей смерти витальной энергии организма: «За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли... С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая хо-

<sup>1</sup> Кельметр Э.В. Поэтика телесности в лирике Иннокентия Анненского: Дисс. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2015. С. 16.

<sup>2</sup> Там же. С. 26.

<sup>3</sup> Кихней Л.Г., Полтаробатько Е.Д. Телесный код в поэзии акмеизма. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2014. С. 12.

<sup>4</sup> Кельметр Э.В. Поэтика телесности в лирике Иннокентия Анненского. С. 37.

<sup>5</sup> Тексты произведений М.А. Булгакова цитируются по изд.: Булгаков М. Морфий: повесть, рассказы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015.

<sup>6</sup> «На самом деле Булгаков действительно имел уже определенный хирургический опыт» (Лосев В.И. Комментарии // Булгаков М. Морфий: повесть, рассказы. С. 171).

лодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп?.. А девушка жила». Эпизод срочной, судорожно производимой хирургической операции выведен в рассказе на грани предметного и метафизического измерений. Телесность предстает здесь как сфера парадоксального соприкосновения невыразимой красоты земного естества (на ее лице «потухала действительно редкостная красота») и его обезображивающей смертности, проступающей в том, как «потухает изорванный человек». В финальных картинах произведения подаренное выжившей пациенткой «длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом» становится «вещным» воплощением тайны тела – с его как колоссальным зарядом жизненной силы, так и неизбежной обреченностью на тлен и забвение: «И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьине, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, продырявилось и наконец исчезло, как стираются и исчезают воспоминания».

Расширение бытийного фона при изображении телесного недуга происходит в рассказе «Стальное горло» (1925). Мучающие повествователя фатальные несоответствия медицинских учебников, анатомических атласов и практики реального взаимодействия с человеческим телом, бросающие его в холодный пот раздумья о всевозможных заболеваниях, оперирование девочки с забитым от дифтерийного крупы горлом – предстают на фоне зловещих стихий «ноябрьской тьмы с вертящимся снегом», вьюги, близко подступающей смерти... В образном мире произведения этим первостихиям мироздания противостоят лишь хрупкая телесность, скупаемая болезнью и подернутая «странной мутью» детская красота, а также усилия человеческой воли, заставляющие продолжать операцию в бездне страха и отчаяния.

В «Стальном горле», в ряде иных «врачебных» произведений Булгакова герой-медик обрисован как «интеллигент, заброшенный во взбаламученное море народной жизни»<sup>1</sup>. Его этически насыщенная мыслительная работа, интеллектуально-практическое противодействие болезни и смерти увидены на пестром фоне профанной мифологии о медицине, о тайных возможностях человеческого тела. Молва о замене обычного горла на стальное в «Стальном горле», изображение широкого спектра народных псевдомедицинских мер вплоть до «сахара-рафинада» «в родовом канале» роженицы, «помогающего» при трудных родах «выманить... младенчика... на Божий свет», в рассказе «Тьма египетская» (1926) представляют телесную жизнь не только в контексте научно-медицинской, онтологической, эстетической рефлексии, но и в архаическом, мифологизированном пространстве коллективного сознания и бессознательного.

Личностное и профессиональное взаимодействие повествователя со стихией телесности отражается в сквозных для цикла мотивах бездорожья, слякоти, вьюги, черной мглы, становящихся препятствием для оказания врачебной помощи и являющих неподвластную рациональному анализу сферу материального бытия. Превозможание многообразных стихийных сил приводит булгаковского героя к коренной переоценке прежних психологических стереотипов и учебных схем. В рассказе «Крещение поворотом» (1925) его медицинская «инициация» при приеме родов с «поперечным положением» сопровождается поначалу невольным, самозащитным «остраннением» возникших обстоятельств: «Что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево?» Динамика кульминационного эпизода основана на стремительном вытеснении

<sup>1</sup> Варламов А.Н. Михаил Булгаков. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 67.

умозрительных представлений о теле вчувствованием в непосредственные ритмы телесной жизни, в которой обнаруживается расположенность к сопротивлению небытию и которая становится предметом натуралистически выпуклого, любовного живописания: «Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его... Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик... Все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание».

Притом что в целом «Записки юного врача» справедливо воспринимаются как «очень радостная»<sup>1</sup> книга, где «много иронии и самоиронии, юмора, света, оптимизма»<sup>2</sup>, срединное в композиционном и смысловом отношении место занимает здесь все же рассказ о поражении человека перед лицом смерти («Вьюга», 1926), что бросает на образный мир и сюжетный рисунок всего цикла трагедийный отсвет.

В экспозиционной части «Вьюги» психофизические состояния рассказчика становятся гранью его саморефлексии. «Сновидческое» измерение внутренней жизни («Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови...») оказывается производным от физической сопричастности врача болевому опыту пациентов, которая крепнет в процессе неустанной «расшифровки» «текстов» их телесного существования: «Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк... Остановившись у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль: как его спасти?» Мелькнувшая рефлексия о беззащитности собственного, распаренного баней организма перед предстоящей дорогой во вьюге таинственно предвосхищает прочувствованную у смертного одра погибшей невесты конторщика уязвимость еще более ужасающую – при лицезрении тела, побежденного смертью: «У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть... Нижняя челюсть девушки задергалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами». Переданный отрывистыми, экспрессивными штрихами опыт прямого предстояния смерти придает символический смысл последующим полудремотным, наполненным спутанными диагнозами и воспоминаниями блужданиям во вьюге и контрастно выражается в финальной реплике, запечатлевшей инстинктивное изживание случившегося потрясения:

– Померла, – ответил я равнодушно.

Потребность художественно «артикулировать мир в терминах телесности»<sup>3</sup> актуализирует в булгаковском литературно-медицинском дискурсе диалогический потенциал. В «Звездной сыпи» (1926) диагностирование «дурной» болезни происходит в напряженной драматургии разговора повествователя как с самим заболевшим, так и с его женой. Поверхностная симптоматика («глотка вот захрипла»)

<sup>1</sup> Варламов А.Н. Михаил Булгаков. С. 66.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Кельметр Э.В. Поэтика телесности в лирике Иннокентия Анненского. С. 163.

обращивается прозрением не только телесной, но и душевной ущербности, а сам процесс врачевания недуга, который, подобно одушевленному существу, «пошел передо мной разнообразный и коварный», входит в нравственное пространство: «Где-то в глубине моей души, еще не притупившейся к человеческому страданию, я разыскал теплые слова. Прежде всего я постарался убить в ней страх».

Финальную позицию занимает в цикле рассказ «Пропавший глаз» (1926), где по прошествии года медицинской службы выведен психологический автопортрет героя, построенный на контрасте с былой претенциозностью университетского, причесанного на «косой пробор» выпускника, на «отелеснивании» приобретенного им профессионального и эмоционального опыта: «Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания». Собственное «недобритое» состояние становится телесным «кодом» его саморефлексии и воспоминаний, в которых особенно прочно отложились моменты растерянности перед загадками тела, не прощающего высоколобой, «ученой» самонадеянности. Коллизии этого поединка с собой, со спонтанными проявлениями организма отразились в мозаике «анекдотических» эпизодов с «переломленной» детской ручкой, неловко вырванным у солдата зубом, с нелепым диагностированием гнояника на нижнем веке младенца...

Как в «Записках юного врача», так и в тематически и хронологически примыкающей к ним автобиографической повести «Морфий» (1927), «тело... становится аксиологическим пространством, в рамках которого происходит перестройка представлений о мире»<sup>1</sup>. Однако если в «Записках...» рефлексия о телесном бытии, проникновение в его тайные ритмы, как правило, служат для героя школой личностного и профессионального возрастания, то повесть «Морфий» выстраивается как трагическая история о капитуляции души, волевых способностей героя перед нравственно поврежденной жизнью тела. «Сгущенная» натуралистичность описания мучительной смерти застрелившегося доктора становится смысловым итогом его напряженного психосоматического самоанализа. В признаниях морфиниста примечательна эволюция оценок наркотического воздействия как «высшей точки проявления духовной силы человека», позднее в качестве энергии, вовлекающей человека во все более фантастические самооправдания («Да и велик ли распад?... Рассуждаю совершенно здраво... Великолепно справляюсь с операциями»), и, наконец, как источника необратимого разрушения своего «заживо погребенного» «я», превратившегося в «смесь дьявола с моей кровью» и не существующего отдельно от «кристаллического растворимого божка». Исповедальные мотивы, намеченные в «Записках юного врача», в «Морфии» разворачиваются в объемное дневниковое полотно, представляя тело как сложно организованный «текст», открывающий личности перспективы самопознания и вместе с тем таящий в себе деструктивные интенции.

Таким образом, художественно-медицинское исследование телесности как пространства встречи и напряженного взаимодействия материального и сверхчувственного планов бытия становится циклообразующим фактором в «Записках юного врача», предопределяет проблематику и поэтику повести «Морфий». Телесная жизнь предстает в этих произведениях в диапазоне от появления человека на свет до его многообразных физических, душевных страданий и смерти. Сквозное изображение болезненных состояний тела выводит у Булгакова к постижению

<sup>1</sup> Кельметр Э.В. Поэтика телесности в лирике Иннокентия Анненского. С. 162.

сокрытых в нем могущественных ресурсов восстановления и продолжения жизни. Исповедально-лирические признания сочетаются в его «медицинской» прозе с динамичной драматургией эпизодов, диалогических сцен, с выходами к масштабным социокультурным обобщениям.

#### ЛИТЕРАТУРА

*Булгаков М.* Морфий: повесть, рассказы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. 192 с.

*Варламов А.Н.* Михаил Булгаков. М.: Молодая гвардия, 2008. 840 с.

*Кельметр Э.В.* Поэтика телесности в лирике Иннокентия Анненского. Дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2015.

*Кихней Л.Г., Полтаробатко Е.Д.* Телесный код в поэзии акмеизма. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2014. 156 с.

#### REFERENCES

Bulgakov M. (2015) Morphine: Novel, Short Stories. St.-Petersburg. Azbuka, Azbuka-Atticus Publ. 192 p.

Varlamov A.N. (2008) Michael Bulgakov. Moscow. Molodaya Gvardiya Publ. 840 p.

Kelmetr E.V. (2015) Poetics of Physicality in the Lyrics of Innocenty Annensky: Thesis. Tyumen.

Kihney L.G., Poltarobatko E.D. (2014) Flesh Code Acmeism Poetry. Moscow. A.S. Griboedov Institute of International Law and Economics Press. 156 p.

*Сведения об авторе:*  
Илья Борисович Ничипоров,  
докт. филол. наук  
профессор  
филологический факультет  
МГУ имени М.В. Ломоносова

Ilya B. Nichiporov,  
Doctor of Philology  
Professor  
Philological Faculty  
Lomonosov Moscow State University